

*Амфитеатров Александр.* Мои встречи с Чеховым // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1929. 6 октября. № 6097. С. 10.

# ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО

## Мои встречи с Чеховым

В большинстве воспоминаний об Антоне Павловиче Чехове он является таким похожим на своих воспоминателей, что терпит сходство с самим собою. В большинстве, одни воспоминатели, в чрезмерном усердии к идеализации, лепят его фигуру из мармелада, окрашенного в розовый цвет. Другие, из породы Собакиных, пытаются вымазать Чехова детем. Обыкновенно это похваление с методичными средними творилось изюдинышка, мелодустроично. Но иные держали и открыто, горда красуясь помазкой в деснице и мазицей в шубе.

Нас, литературных сверстников Чехова, остается в живых не очень то много. А хорошо и близко знавших его так и очень мало. Я не считал себя в их числе, хотя знал Антона Павловича с первых его печатных опытов (вместе начали в «Будильнике» и «Осколках») и оставался с ним в неизменно хороших отношениях до самой его кончины, считая, больше двадцати лет. Как писатель, Чехов — моя великая, пожалуй, даже величайшая, кромки Пушкина, любовь. Так человек, он мне нравился безусловно. Не припомню ни единого момента, в котором его образ сочетался бы в моей памяти с нехорошими впечатлениями. За долгие годы, не чувствуя себя в праве дать Чехову ответственной «объективной» характеристику. Да не убеждает меня в малом своем праве также и никто из литераторов-воспоминателей. Все они очерщают Чехова как бы сквозь толстую стезю матового стекла, которая исключает всякого догадываться о Чехове, (и знаешь, докторю, строит догадку по своему разумению и хотению), но показывает Чехова непосредственно.

Крепка была духовная заплывлость Чехова, редко и редко догадываясь он даже близки к сердцу. А.С.Суворин сказал мне однажды, что при всей своей близости с Чеховым, при всей в него алчности, он лишь два раза видел Антона Павловича приоткрытым до самого дна его глубокой души. Чехов был чрезвычайно интимный человек. Думаю, что настоящего Чехова, как он был, могли бы лучше знать нам не писатели, но лишь удостоившиеся его дружбы в частной жизни. Несколько таких упоминает обширная переписка Антона Павловича, изданная в шести томах его сестрой Марией Павловной, и еще отдельный том «Личной переписки», изданной его вдовой Ольгой Леонардовной Чеховой-Юлишпер. К сожалению, этих лиц тоже много не было, а живущих не пишут.

Недавно в Милане встретил я А.А.Салтыкова (превосходно поста-

вил в «Сказка» «Царя Салтыкова») с сестрой Лидией (стативной, урожденной Мизиновой). То есть с той «Лидией», чье имя, можно сказать, нависает над мелиховским периодом жизни Антона Павловича и мелькает в соответственные годы чуть не на каждой странице его переписки. И как разнообразно и интересно! Вот кого было бы любопытно и важно выслушать о Чехове, потому что она то часто видела его душу, раскрывающую широко нараспашку.

А писатели, более или менее знавшие Антона Павловича, не худо сделали бы, если бы, прежде, чем придет каккому из них черед отразиться на потустороннее свидание с ним, проверили себя: чем кто обязан ему в своем литературном труде, — и рассказали бы о том во всеобщее ведение. Таким способом, черта за чертой, сложился бы документальный портрет Чехова, как главы, вышестоя, центрального двигателя своей литературной эпохи, не жидкой еще и поныне, в представителе его ближайших преемников-последователей и уже их учеников.

Чехов никогда не учительствовал, не проповедал, не указывал «истинных путей» с речитативом за их непогрешимость. Но он сам был так органически истинен, так целю и инстинктивно правдою творческого наблюдения и сочетанной образы мысли, что даже короткое и случайное общение с ним не проходило для писателя (за исключением, конечно, маньяков, собственного величия) бесследно. Насыщенность Чехова талантом и здравым смыслом источала флюиды, которые усваивались ответным инстинктом каждого, кого Бог наделил хоть малую долю художественного чутья.

В своих литературных суждениях Чехов был жесток, прямо, товарищески добросовестен, но далеко не маршаладен.

В последних 80-ых и первых 90-х годах я бредил Мопассаном и был помешан на «стиле». А потому выглаживал свою юную бездельничку столь старательно, что, в конце концов, как художники выражаются, «сваливала картину».

Чехов при встречах неизменно дразнил меня:

— Слушайте же, признайтесь, что вы свои рассказы со шведского переводите?

Эта острота его сделалась для меня вроде известного коварного совета ализинку: при делании волота не думать о белом медведе. Следи писать рассказ и сейчас же стук в голову:

— Не вышло бы опять перевода со шведского?

С той разницей, что ализинку белый медведь неизменно жевал в желанном достижении, а

яне чеховская насмешка помогала реализовать свой язык, забыть на него искусственность, деланность, парочность.

Была у меня страстишка к мистическим рассказам с Христом, Мадонной, ангелами, демонами. Они нравились, читались, покупались. Поволотно, я нашло бы мной фантастично видимо-невидимо, если бы не Чехов.

— Послушайте, — говорит, — как заметно, что вы были в опере.

— А что?

— Слушайте же, аккорды там у вас... хоры, арфы, трубы... Слышно, что изныли, чтобы под оркестр... И освещенная не жалете: то голубой свет дадите, то розовый, то золотой, то зеленый... Слушайте же: опера, — шифон с бенгальскими огнями.

Еще одним полезным «белым медведем» обогатилась моя автокритика. Фантастические рассказы я забросил, да и, вообще, стал сдерживать буйство воображения:

— Ох, не чувствуй бы бенгальского огня?

За ювешескую поему «Демон» Антон Павлович догнал меня, почтительноше приветствуя:

— Здравствуйте, Михаил Юрьевич!

Поэму, однако, заставил однажды прочесть. Дело было в татарском ресторане Петровских Линий. Шло гладко до стиха, где Демон, оплакивая свою, покончившую брачное бытие, возлюбленную, вдруг, воями да воскликнул:

— «Была ты, как изумруд души светлой».

Чехов серьезнейше остановил: — Слушайте, Лермонтов, почему ваш Демон уверяет, что его душа была зеленая.

Зарезал!

А о поеме серьезно сказал: — Красиво, да не к чему. Кому нужен ваш черт с чувствами? И с людьми то горе-горем, а если еще черти поведаться горевать... Ну их в неудобное место!

— Но, Антон Павлович, ведь, это же не настоящий черт, а символ.

— Слушайте: что же символ?

Разве вы в чертой верите?

— Не очень! — рассмеялся я. — Так зачем их пишете? Если черты существуют в природе, то пусть черты о чертах пишут. А человек должен писать человеческое.

Несколько лет спустя встретились мы у Ф.А.Куманина, редактора-издателя «Артиста». Зашел между ними, Куманиным и Чеховым, спор о молодой тогда артистке Л.В.Яворской. Куманин ее влюбленно восхвалял. Чехов беспошадно высмеивал.

— Согласитесь, однако, Антон Павлович, — горячился Куманин, — что «Мадам Сам-Жен» она играет с душой? Александр Валентинович, — обратился он ко мне, — скажите: разве в «Сам-Жен» Лидия Борисовна бездушна, как говорит Антон Павлович?

Я не любил Яворскую и, конечно, стал бы на сторону Чехова, но не успел.

— Нашли на кого ссылаться, — пробасил он, — так я ему и поверю: он думает, что у женщины зеленая душа!

Не забыл своего старого казакбура!

В начале 90-х годов, когда Чехов возвратился в Москву с Сахалина, а я с Кавказа, мы не раз встречались на «пятницах» в некоем салоне, довольно притертво (даже с подьянными именами некоторых постоянных гостей) изображенном мною в недавнем моем романе «Лидия». Там записано несколько острых словечек Чехова. Между прочим: хозяйка салона, названная мною Ольгой Левенштейн, была большая либералка и свободомыслящая. Даже пятницу для своих жур-фиксов она выбрала не спроста, но с идеей: в виде протеста против предрассудка, что постный и тяжелый день. Чехов же поддразнивал ее, будто вовсе не потому, а, напротив, из тайного антисемитизма: чтобы к ней на жур-фиксы не ходили евреи, и, в частности, Левитан. Так как «Ольга» была к Левитану неравнодушна, то шутка Чехова поряком-таки ее злила.

Александр Амфитеатров.